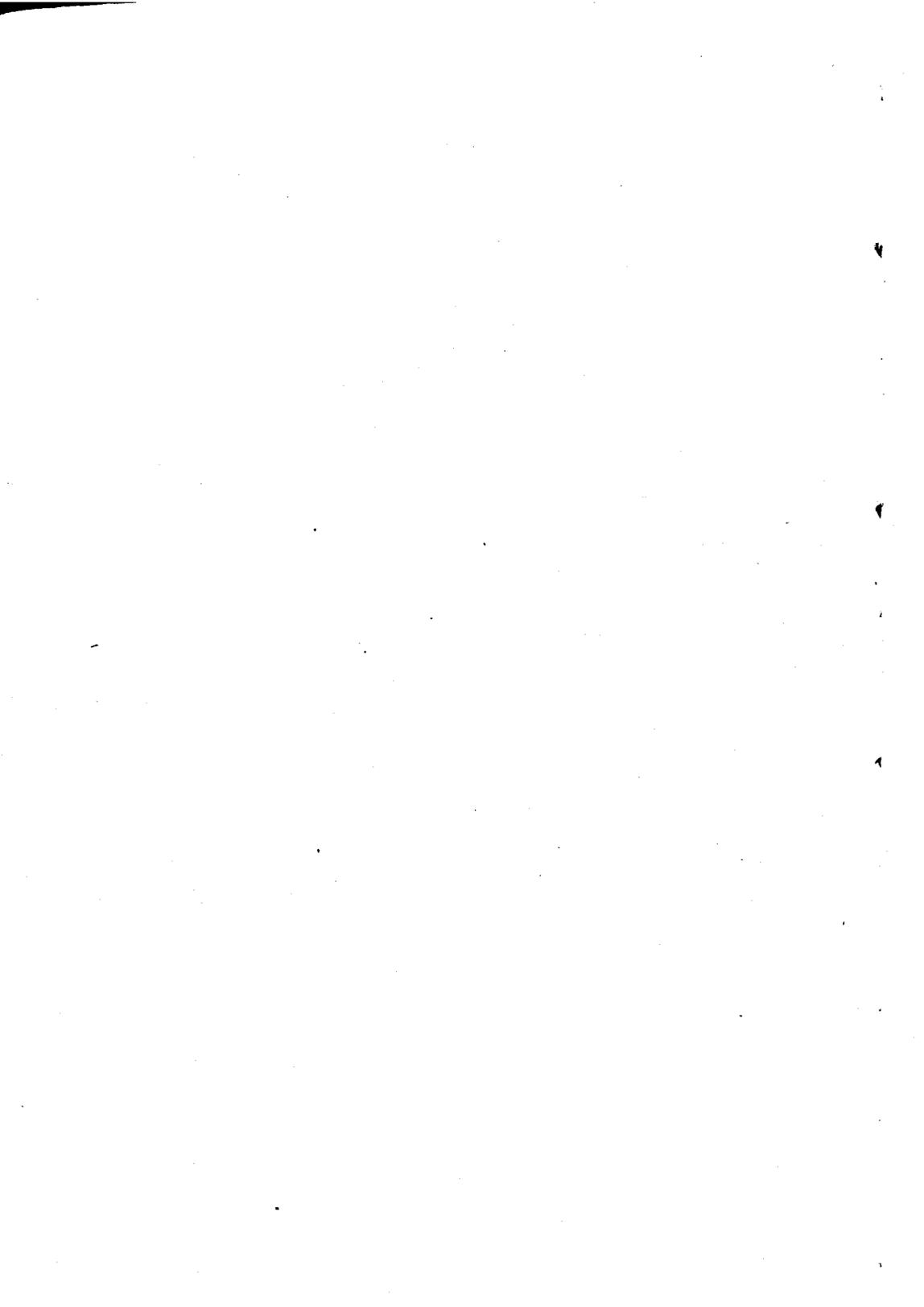


ЗОЙКА И ВАЛЕРИЯ

Ив. БУНИН.



Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним каждую субботу на дачу по Казанской дороге — полтора часа в поезде и минут двадцать на велосипеде, по просекам в высоком сосновом лесу.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор Данилевский говорил ему «коллега», а все остальные и даже некоторые гости звали его Жоржем и Жоржиком. Есть молодые люди, к которым такие обращения идут. К нему это шло мало. Но, очевидно, было достаточно и того, что он от времени до времени, по причине одиночества и влюбчивости, привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия, — таким и стал он у Данилевских. И тут не только хозяйка, даже дети, очень полная Зойка и пятиклассник Гришка, обращались с ним как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был, кроме того, с виду очень прост и добр, был услужлив и неговорлив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье из серого ситца, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой, старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, — чаще всего через неделю или две, потому что попасть сразу к Данилевскому было невозможно, — а других вводила в высокие двери при-

емной, банально парадной гостиной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарнобелом халате, чистому и размытому, как провизоры в аптеке Ферейна, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них взлезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало — не только этот одр, сам Данилевский, ассистент и женщина в прихожей, их серьезность, скупость на слова, но и весь важный порядок этой большой и богатой квартиры, бесстрастная тишина ее прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в стоячих, чуть не до потолка, часах, и выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вдоха, — и они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что Данилевский, высокий, плотный, покачивающийся на ходу, иногда обрывающий их, — «знаете, уж что-нибудь одно: или я буду говорить или вы», — вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от постоянных гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках и, пока пациенты сидели и ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжело-больным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: «Ничего, пускай подождут, матери их черт!» Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, пестрые ястребиные глаза и рыжие короткие, круто и жестко вьющиеся волосы, Данилевский сказал:

— А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

— Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская или, может быть, ваша украинская, — ведь Левицкие есть и украинцы, — слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один Аллах ведает.

И Данилевский засмеялся:

— Ну вот, я все таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, — он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?

— Дария Тадиевна — быстро залившись тонким алым огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой — он часто так краснел и улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее черносмо- родинные глаза как будто на миг куда-то пропали, и тоже сама покраснела и сама Дария Тадиевна, миловидная, с пепельно-синеватым пушком на губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.

— Что-ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, — сказала она, — ведь во мне тоже восточная кровь. Только, к счастью, совсем не опасно, через несколько дней я буду, увы, уже далеко от милой Москвы и турецких страстей...

И Гришка сладострастно закричал: «А, попались, попались!», а Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые странные чувства к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по детски были нежны и круглы ее толстые сизые голые коленки под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, — Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, — и она жила в беспечном безделье, никогда не сучая. Она так была со всеми ласкова,

что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд синих глаз, налитых молодым маслянистым блеском, и всегда влажные розовые губы. При всей полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный на темени в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. И она была совершенно лишена стыдливости — или с инстинктивной хитростью делала вид, что не имеет ее. Она свободно садилась на колени к Левицкому — как бы невинно, ребячески — и верно чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее сизых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал — как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась, смутно предвкушая близость совсем других его поцелуев. Она так уверилась в этой близости, что однажды шопотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна как барышня и страшно моложава, и оба они, и мама, и доктор, такие красивые и высокие ростом! Но скоро Левицкий стал невнимателен к ней — приехала и стала появляться в доме Дария Тадиевна. Зойка сделалась еще веселей, беспечней, но не сводила глядя ни с нее, ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что, когда она заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. Потом она ждала ее отъезда — и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, весной заставивших его очень редко появляться у Данилевских, начнет ездить к ним на дачу, в большую усадьбу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую субботу, иногда даже оставаться на два, на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валя Остроградская, которой ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видели. Левицкого послали рано утром в Москву, встречать ее

на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя рядом с ней на тележке станционного извозчика, среди множества женских дорожных вещей, усталый, с провалившимися глазами, с обрезававшимся лицом и радостно-взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, избежав на крыльцо на встречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, — разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила частой и певучей скороговоркой, то неожиданно смолкала, думала что-то свое, точно куда-то исчезала. Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неутомимой, детской настойчивостью:

— А вы привезли с собой сафьянные сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми каштановыми волосами, с бархатными бровями и глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с великолепным блеском зубов и полными вишневыми губами, над которыми были тоже чуть видные усики, только не пушок, как у Дарии Тадиевны, а черные волосики. Руки у нее были маленькие, изящные, но тоже крепкие, ровно загорелые. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была серая, довольно короткая и совсем простая, но удивительно сидела на ней... Зойка так восхищалась ею, что совсем не ревновала ее к Левицкому, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывать ему. Потом Зойка влюбилась в одного из долговязых подростков, приходивших к Гришке с соседних дач, с утра до вечера играла с ними в крокет и не думала о Левицком. Через некоторое время дни стали совсем летние,

жаркие, гости стали все чаще приезжать из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, помогая ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама, но за крокетом и прочими летними радостями отнеслась ко всему этому равнодушно. С Валерией вообще что-то случилось — когда не было гостей она совсем перестала заниматься собой, менять нарядные блузки и юбки, как делала прежде, иногда с утра до вечера ходила в мамином пеньюаре и вид имела скучный и загадочный. Но и это не трогало Зойку. Одно было интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по еловой аллее, повязанная вроде белой чалмы полотенцем, как Левицкий ташил, спотыкаясь, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил, и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечи и поцеловал в губы:

— Я прижался за слью, и они не видели меня, — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, — а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, как пьяная, было еще страшно жарко, и она, конечно, перекупалась, ты знаешь, как она по два часа плавает и ныряет. Я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие дикие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, по летнему нарядными женщинами и мужчинами в чесучевых костюмах, в соломенных шляпах, со множеством покупок в руках. Иногда шел тот прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие, мокрым лаком, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зелень частого, высокого, стройного бора, стоявшего за поездом и дальше, вдоль пути, исчезающего узким коридором вдаль, круглилась необыкновенно высоко в ярком

небе. Потом пошли жаркие дни, когда приезжие спешили вырваться с людной станции, на перебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчицы тележки, и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора, под небесными лентами над ними. И наступило полное дачное счастье в бору, который без конца и края покрывал высокую, сухую, слегка холмистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут не достает только медведей, декламировали: «и смолой и земляникой пахнет темный бор» и аукались, счастливые своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды — мягкими скороходами, косоворотками на выпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщевыми картузами: иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, приземистого, бородатого, в очках, не сразу можно было узнать в такой косоворотке и таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен. Чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним, он страдал еще тем, что хорошо понимал, как пошло, избито его несчастье. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе, сделала его не то своим другом, не то рабом потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев, зачем говорила ему то ты, то вы и как у нее хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом от пошлости этих неотступных вопросов и своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, тайком бежать в Москву, скрыться ото всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так пронзало воспоминание о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги, холодело в животе. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной про-

стотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное, — «а где-то это тетя? вы ее не видали?» — и он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от обиды. Если он за чаем или за завтраком не мог одолеть себя и тайком бросал на нее взгляды, она делалась брезгливо-рассеяна. Раз, проходя, она увидала у него на коленях Зойку — какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула на нее своими глазами черной крови и звонко крикнула: «Не смей, гадкая девченка, лазить по коленям мужчин!» — и его охватил восторг: это ревность, ревность! А Зойка стала с тех пор улучать каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: «Миленький, миленький, миленький!» Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрагания и ужаса: Боже, что-же это со мной! Как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне! И стал избегать ее, бывал с нею только на крокете вместе с Гришкой и его товарищами, качал ее на качелях только днем, на виду у всех.

Двор усадьбы был большой. Справа от в'езда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели вековые березы и липы, слева, на твердой, бугристой земле, просторно росли огромные сосны, на лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели, дальше, уже у стены леса, была ровная крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против в'езда, за ним большое пространство занимало смешение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смешения от заднего балкона к купальне на пруду и казавшейся бесконечной. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяева и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и

горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: похожий на карлика, темноликий, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой, одна малознакомая дама с укусным голосом, — маленькая оса удивительной худобы, вся подсохшая, злая, обидчивая, однако всегда откуда-то являющаяся на пикники, на именины, — и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом: так был он самоуверен, самодоволен, высок, красив, элегантно наряден, блестящ бельем и золотым пенснэ. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский были под соснами возле леса, в их сквозной тени, — Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерия и оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились: «Нет, позвольте, позвольте!» И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда — Валерия тотчас прогнала его: «Тетя одна чистит вишни, извольте итти помогать ей!» Он смущенно улыбнулся, постоял, посмотрел, как она нагибается, как висит ее чесучевая юбка над икрами в тонких чулках палевого цвета, как полно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от шелковых розовых перемычек сорочки, — и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда ровная, спокойная, ясная молодежавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса посматривала на него.

— Теперь руки и не отмоешь, — говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилку в вишню, — а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жарко, могли бы отлично

ходить в одной рубашке с поясом. И не брились десять дней...

Он знал, что серые впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены, он знал, как сутуло сидит он с своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал, ало краснея и силясь улыбнуться:

— Правда, правда, Клавдия Александровна, я совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что давным давно пора мне в Москву, я уж так загостился у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев, — говорят, удивительно живописный город...

И нагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

— Нет, нет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете себя по ней молотком — ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него — едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли лежать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к конюшне, поднялся по стенной лестнице на сеновал, где даже ночевал иногда на старом сене, и повалился на него. Вдруг кто-то быстро взбежал за ним, распахнул и запахнул дверь — и он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задыхаясь, зашептала, лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

— Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать... страшно для вас интересное, замечательное!

— Что такое, Зочка? — спросил он, приподнимаясь.

— А вот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это — непременно!

И забила ногами по сену, обнажая полные ляжки.

— Зочка, — начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, — Зочка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она еще пуще забила ногами;

— Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидал под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и зарылся в них лицом. Вдруг она тихо, но пронзительно вскрикнула: «Ай!» и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

— Что такое?

Она, упав головой в сено, зарыдала:

— Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдернула с своего большого, полного тела панталончики:

— Что это? Что там? Кровь?

— Да ровно ничего нет, Зочка!

— Как нет? — крикнула она, опять зарыдав. — Подуйте, подуйте, мне страшно больно!

И он, дужа, жадно поцеловал несколько раз нежный холод ее широкой полноты. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами:

— Обманула, обманула, обманула! И вот вам за это страшный секрет: Титов дал ей отставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все слышали из-за кресел в гостиной: они идут по балкону, мы сели на пол за креслами, и он говорит ей страшно оскорбительно: «Сударыня, я не из тех, кого можно водить за нос! И при том я вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а пока никаких объяснений». Здорово? Так и надо!

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по лестнице.

Он посмотрел ей вслед:

— Я негодяя, которого мало повесить! — сказал он громко.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило успокоение — гости в шесть часов уехали... Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого — сумерок, запахов, усадьбы — и все еще что-то обещающая мука ее присутствия в ней, ее существования возле него, ее лица, тела, легкого платья... разрывающая душу мука любви к ней — и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним — да, это она качается. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все туже натягивая веревки, силясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит вверх до самых крон сосен, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно несется вниз, поджав ногу и развевая подол. Вот бы поймать! Поймать и задушить, изнасиловать!

— Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, надает еще крепче.

За ужином на балконе, под яркой лампой-молнией, смеялись над гостями, спорили о них. Спорила и она и спешно ела творог со сметаной и сахаром, опять без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все на него косилась, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в доме не осталось ни одного огня. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дверь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое бельишко в свой заплочный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду — и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу, до первого утреннего поезда... Но нет, так нельзя. Выйдет Бог знает что, — сбежал, как жалкий мальчишка, ночью, ни с кем не прощаясь. Надо ждать до завтра — и уехать беспечно, как ни в чем не бывало: «До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, кра-

сивый город.. Зюечка, будьте здоровы, милая, растите и вселитесь! Гриша, дай пожать твою «честную» руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте лихом...» Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, будто какой-то намек на что-то..

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он на ципочках спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная близна неба от несметных мелких звезд.. Он пошел по двору, опять остановился лицом к дому, поднял голову: уходящая все глубже и глубже в высь звездность и там какая-то страшная темно-синяя темнота, провалы куда-то... и спокойствие, молчание, непонятная, великая пустыня, безжизненность и бесцельная красота мира.. безмолвная, вечная религиозность ночи... и он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов молиться о какой-то небесной милости, о чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплюснутым блеском в черных стеклах окон — и в стеклах е е окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове? Да, вот и ее черед!

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под ним рассыпаны неподвижные зелено-желтые огоньки светляков. И что-то смутно белеет на балконе... Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался негромкий и ровный, без выражения голос:

— Что это вы бродите по ночам?

Он в изумлении двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебристой шали, которую все гости

Данилевских поочередно накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности, боли и счастья он тупо спросил:

— А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползающую шаль плечом.

— Пройдемся...

Он пошел за ней, сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таившей в своей мрачной и величавой неподвижности. Что это? Он опять с ней, наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней..

Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

— За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она закачала головой:

— Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

— Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висящую руку и, не подымая, стиснула ее:

— Молчи, — настойчиво повторила она шепотом.

— Валя, я не понимаю...

Она остановилась, отбросила его руку и взглянула влево на ель в конце аллеи, черневшую широким разлетом своей конусообразной мантии:

— Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз...

Обняв ее шею круглой рукой, обнажившейся из широкого рукава и шали, она поцеловала его каким-то ожесточенным поцелуем, потом быстро перешла под ель, бросила шаль и прошептала:

— Иди сюда...

Осыпавшаяся хвоя лежала под елью толстым ковром, очень колючим...

Когда он свалился с нее, она осталась лежать, как была, только опустила колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдали за пролетом аллеи, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался: два без двенадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами тотчас вскочил на седло и, согнувшись, как гонщик, бешено заработал ногами, прыгая по песчаным ухабам просек, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты стволов. «Опоздаю!» И он работал еще горячее, то и дело вытирая потный лоб сгибом руки: курьерский из Москвы пролетел мимо станции — без остановки — в два пятнадцать — ему оставалось всего тринадцать минут. В два десять, в полусвете зари, еще похожем на сумерки глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево вдоль железнодорожного пути и, как только миновал станцию, вильнул вправо, на переезд под шлагбаум, потом опять влево, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, под уклон, на встречу вырвавшемуся из под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу.